

1880
1980

В ОЧИ БЬЕТСЯ КРАСНЫЙ ФЛАГ

К 100-летию со дня рождения великого русского поэта Александра БЛОКА

Костры Петрограда

...Прошло меньше года — рухнула и развалилась царская Россия. Блок в это время был на войне, в полесских болотах. Примерно через три недели после свержения самодержавия, отпросившись в отпуск, он вернулся в Петроград.

Снова со всей силой почувствовал он революционную душу своего Города. В октябрьские дни 1905 года для него не было на всем свете города чудеснее, чем Петербург. Теперь, в марте 1917-го, он в течение нескольких дней ходит по городу «как во сне». Светит яркое солнце, прямо по нечистым мостовым вальс вальс толпы возбужденных и «подробивших» людей, на каждом углу закипают жаркие митинги, проносятся грузовики с большими красными флагами, всюду — музыка, пение «Марсельезы», знамена революции реют над царскими дворцами... Прекрасны сожженные, вылизанные огнем здания Окружного суда и Литовского замка: «Вся мерзость, безобразия их внутри, выгорают».

Вероятно, так чувствовали революционную душу своего Города парижане, когда 14 июля 1789 года пали и танцевали вокруг поверженной Бастилии.

Блок без устали бродил по Городу, смотрел, наблюдал, думал о том, что было, гадал о том, что будет, — и два века русской истории медленно проходили перед его глазами — два века, обозначенные двумя великими моментами. Вдохновенный Фальконетов всадник на гордом коне, замеснувшись копыта над водной бездной, и изваянный Павлом Трубецким мрачный бородатый на тяжелом битоге, уперев в землю все четыре копыта и низко опущившим туго затянутой уздой пеню... Два коня, два всадника, два выражения символов — начало и конец императорского Петербурга, его первое и последнее слово...

Было о чем думать и гадать, блуждая по преобразенному Петербургу.

В эти первые дни свободы Блоком овладело сознание, что «произошло чудо и, следовательно, будет еще чудеса». Это и было главным в его ощущении и переживаниях происходящего в России. Весна и лето бурного, переменчивого, бурлящего событиями 1917 года прошли для него в напряженном ожидании еще более грандиозных чудес.

С особенной остротой чувствовал он тревожное, перенасыщенную электричеством петербургскую атмосферу этих дней. Лето стояло знойное, душное, с частыми грозами и ливнями; в окрестностях столицы горел торф — в городе сильно тннуло гарью.

Блок выше головы занят работой в Верховной следственной комиссии, учрежденной Временным правительством для расследования противозаконной деятельности царских министров и высших сановников. С утра до вечера он то на заседаниях, происходивших в Зимнем дворце, то на допросах арестованных в Петропавловской крепости, то дома до поздней ночи редактирует бесконечные протоколы показаний...

Позиция Блока накануне, в момент и сразу после Октябрьского переворота известна широко. Близкий поэту чело-

век засвидетельствовал: «Он ходил молодой, веселый, бодрый, с сияющими глазами».

Зная Блока, трудно, просто невозможно предположить, что в эти дни он мог сидеть дома.

Попробуем представить себе промозглую осеннюю петербургскую ночь с дождем и порывистым холодным ветром с моря, тяжело бьющуюся в гранитном ложе Неву, «Аврору» перед Николаевским мостом, непроглядную тьму, солдатские, матросские и красногвардейские патрули, пулеметы на широких ступенях Смольного...

В одну из таких ночей у красновардейского костра, разложенного на Дворцовой площади, Маяковский встретил Блока, похожего на солдата (после возвращения с войны Блок продолжал ходить в гимнастерке, шинели, фуражке и сапогах). Встреча эта описана в поэме «Хорошо!»:

Блок посмотрел — костры горят —

«Очень хорошо».

Одно слово: **костры** — а так много сказано!

Примерно в те же дни ВНИК, только что избранный на Втором съезде Советов, сделал первую попытку собрать наиболее видных представителей столичной художественной интеллигенции, чтобы познакомиться и столковаться. В Смольный пришло всего несколько человек. Поименно мы знаем шестерых: двух поэтов — Александра Блока и Владимира Маяковского, Всеволода Мейерхольда и Ларису Рейснер, художников Кузьму Петрова-Водкина и Натану Альтмана. Все они заявили о своей готовности сотрудничать с новой властью.

В огненном январе 1918 года, в тревожнейшие дни, какие когда-либо переживал Петербург, были написаны «Интеллигенция и Революция», «Двенадцать» и «Скифы» — бессмертная трилогия, навсегда связавшая имя Александра Блока с Великой Октябрьской революцией и закрепившая за ним в истории место одного из зачинателей советской литературы.

Место действия в революционной поэме Александра Блока — Петербург первых январских дней 1918 года, запечатленный во множестве конкретных, точных примет тогдашнего, сдвинувшегося со своих якорей быта.

Да и сама грозная выюга, с небывалой силой бушующая в Городе, уже новым Красном Петрограде, тоже петербургская, казалась бы, та самая, что так хорошо знакома нам по «Снежной маске» и другим стихам Блока.

Двенадцать человек, пришедшие в Красную гвардию из питерского «рабочего народа» с готовностью сложить свои буйные головы в отчаянной борьбе за правое дело, идут черным вечером по белому снегу мимо запертых буржуазских этажей и отомкнутых погребов, мимо окутанной тьмой и тишиной старой башни на Невском проспекте — идут дерзавым шагом, как новые хозяева города и всей России...

Вл. ОРЛОВ.



Сад Народного дома. 17.VI.1916 (редкий снимок).

Он весь — свободы торжество!

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда таго лицо в простой опрае
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И бросил в ночь заветное юльцо.
Ты отдала свою судьбу дружку,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутась проклятым роже...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не сиюшила.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знала, где приют твой гордым
Ты, милая, ты, нежная, камла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В которм ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтает о нежности, о славе,
Все миновало, молодость прошла!
Твое лицо в его простой опрае
Своей рукой убрал я со стола.

30 декабря 1908.

О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увеселить,
Безличное — уволелить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть души жизни сон тяжелый,
Пусть задыхался в этом сне,
Быть может, юность веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это
Сокровыт дивитель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

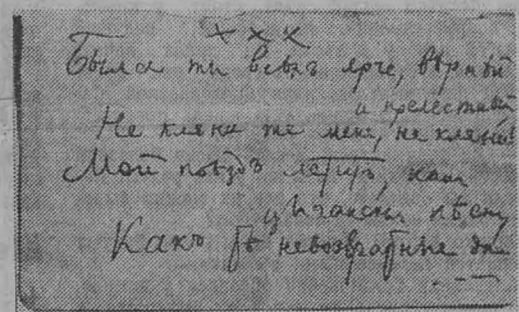
5 февраля 1914.

КОРШУН

Черта за кругом пламенный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотит на пустынный луг...
В избушке мать над сыном тужит:
«Нá хлеба, нá, нá груди, соси,
Расти, покормеуш, крест неси».

Идут века, шумит война.
Встают мятеж, горят деревни.
А ты все та ж. моя страна,
В красе заплаканной и древней...
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

22 марта 1916.



ИЗ СЕМЕЙНЫХ ВОСПОМИНИЙ

МИР, ДОСТУПНЫЙ ЛИШЬ ЕМУ

Георгий БЛОК

Георгий Петрович Блок — двоюродный брат Александра Блока, сын частного поверенного П. Л. Блока. В 1909 году окончил Александровский лицей, до 1917 года служил в канцелярии Сената. В дальнейшем работал в Академии наук и главным редактором издательства «Время». Писатель, литературовед, переводчик. Автор нескольких книг. Его воспоминания об Александре Блоке с некоторыми сокращениями печатаются впервые по машинописной копии, предоставленной автором в 1946 г. в издательство «Художественная литература».

При первой встрече с Блоком всех поражала неподвижность его лица. Это отмечено многими мемуаристами. Лицо без мимики. Лицо, предназначенное не для живописи и не для графики, а только для ваяния. «Медальный» профиль Блока.

Он держался всегда очень прямо, никогда не горбился. Добавке к этому спокойную медлительность движений (он не жестиковировал ни при чтении стихов, ни в разговоре), молчаливость, негромкий, ровный, надтреснутый голос и холодноватый взгляд больших светлых глаз из-под темных, чуть припущенных век.

Таким он бывал во все времена своей жизни: и в самой первой юности, и в поздней молодости, и незадолго до смерти. Но именно только «бывало»: это была завеса, или, точнее, забрало.

Блок внутренне находился в непрерывном движении. Как поэт и как человек, он рос медленно, но безостановочно. Он все время менялся. И когда сейчас я стараюсь воссоздать его в памяти, я вижу не один, а много последовательных его образов, между собой несхожих...

Было в нем, впрочем, и кое-что, так сказать, постоянное, не зависевшее от возраста. Таков был его смех, очень громкий, ребячливый и заразительный. Но он раздавался редко и только в очень тесном кругу.

Такова же была его улыбка. Она несла другую, более ответственную функцию, чем смех. Особенность блоковской улыбки заключалась в том, что она преображала его коренным образом. Лицо, обычно довольно длинное и узкое, тусклое, становилось короче и шире, пестрее и ярче. Глаза светлели еще более, вокруг них ложился какие-то новый, глубокий, очень теплые тени, и сверкали почти негритянской белозубой улыбки ряд крепких зубов. Улыбка, как и смех, была очень наивная, ласковая и чистая. Вдоль ее, я всегда вспоминаю слова Льва Толстого о том, что прекрасным можно назвать только такое лицо, которое от улыбки хорошо.

Хоть это было почти полвека тому назад,

в последние годы XIX столетия, но я о наибольшей откровенности вижу Блока в семнадцатилетнем студентом, впервые выезжающим в свет. До тех пор он появлялся у родственников редко, всегда в сопровождении хмурой матери, в узком коридоре гимназического мундирчика, с длинными короткими рукавами, ничем себя не проявлял, и нам, его младшим двоюродным братьям, был скорее неприятен, потому что наши матери ставили его в пример как умного и добродушного мальчика, издающего какой-то домашний журнал. Теперь же перед нами неожиданно предстал новый, вполне взрослый и не по летам степенный человек.

Его приглашали на семейные вечера. Он делал визиты и вообще строго соблюдал правила приличия. Наши родители серьезно разговаривали с ним о серьезных вещах: о Владимире Соловьеве, о театре, об актерах. Мы с завистью смотрели на его легко схваченный в талии темно-зеленый сюртук с синим воротником и с двумя расходящимися кверху рядами золотых пуговиц. Его необыкновенная наружность казалась нам, пожалуй, даже чересчур заметной.

Он и впрямь был превосходно сложен: сухой, широкий в плечах, узкий в бедрах, с крутой грудью и сильными лопатками, плавно сбегающим к тонкой, молоденькой выгнутой пояснице. Это была совсем не городская статность, а какая-то нездическая, казачья, степная или даже, пожалуй, горская...

Теперь мне до очевидности ясно, что он был патологически застенчив. Это была тоже постоянная его черта, не побежденная до смерти и причинявшая ему, вероятно, много огорчений. Но она давала о себе знать только в быту и мгновенно преодолевалась, как только он вступал в исполнение каких-нибудь художественных обязанностей, будь то декламация чужих произведений, игра на сцене или чтение своих стихов.

Передо мной возникает другой его образ, отделенный от первого целым десятилетием.

Это было в 1907 или в 1908 году. Он был уже широко известен как поэт. Когда говорили о «декадентах», непременно упоминали и его, но не на первом месте, а большей частью на третьем: Бальмонт, Брюсов, Блок. Славы еще не было, всеобщего признания тоже пока не было, в широких читательских и писательских кругах было известно только имя, немного скандальная известность слишком дерзкого новатора. Почетное положение было завоевано к этому времени Блоком лишь в очень узком поэтическом кругу.

Помню такую сцену: отец читает нам с

сестрой только что напечатанное где-то стихотворение Блока «Обман»:

В пустом переулке весенние воды
Бегут, бормочут...

Дойдя до стиха: «Плывут собачьи уши, борода, и красный фрак...», отец вскинул голову, вызывающе посмотрел на нас сквозь сильное пенсне, пожал плечами и захлопнул книгу. Это означало, что Саша на ложном пути... Окончание наших отцов не приняло Блока.

В жизни Блока это был период наибольшей его замкнутости. На нем лежало клеймо одиночества...

Лавры занимательного рассказчика и остроумного собеседника никогда не прельщали Блока. Он был очень далек, принципиально далек от стремления овладеть разговором. Человек, стеснявший положение «души общества», вызывав в Блоке не зависть, а обратное чувство, но лишенное безразличности. Но в юморе Блок знал толк и временами, словно против воли, роял убийственно жестокие эпиграммы. Не могу забыть, как он сказал мне однажды про некоего весьма популярного писателя: «А я все-таки продолжаю любить его, несмотря на то, что давно с ним знаком».

Шутливость и легкость выражений исключались начисто, когда Блок говорил о своей поэтической работе. Того же в этих случаях становился таков, будто он толковал не о себе, а о другом человеке, отдаленном на его почете. Так мог бы говорить отец о сыне, профессор о любимом ученике, честный врач о трудном пациенте. Речь шла в этих случаях не о поэтическом даре, а о поэтической долге и о поэтической ответственности. Это, на мой взгляд, одна из самых характерных черт Блока...

Мне памятен рассказ моего отца о встречах с Блоком в Варшаве на похоронах Александра Львовича, отца поэта. Мой отец вернулся оттуда очарованный Сашей: много говорил о том, с каким тактом, достоинством и мягкостью вел себя Блок в трудной обстановке похоронных церемоний, в общении с множеством незнакомых и неприятных ему лиц. В жизни Блока эти трагические варшавские дни были одним из самых решающих. Мне передавали, что Блок по дороге на кладбище полагивал уже запятым проб отца. В эти минуты он впервые, должно быть, понял, чем был и чем мог стать для него этот отец, которого при жизни он проглядел и о котором впоследствии так хорошо сказал в своей автобиографии: «Я встречаюсь с ним мало, но помню его кровно».

Мне кажется, что именно с этих пор начало мало-помалу изменяться отношение Блока к людям: утиная замкнутость уступала место все более прозвительному

вниманию. Он словно опасался проглядеть еще кого-нибудь. Это был длительный процесс. Он не успев завершиться...

Я говорил о возрастающем в эти годы внимании Блока к людям. Его собеседникам это обходилось недешево. Разговор с Блоком требовал в эту пору такого мучительного, подчас умственного напряжения, какого я по крайней мере не испытывал ни в каких других случаях жизни. Это вызывалось многими причинами. Его речь была очень далека от книжности и синтаксической округленности, но была так метафорична и в этой метафоричности так изысканно точна, так законична и так стериально свободна от обывательских стереотипов словечек, которые если и пускались в оборот, то лишь в кавычках, что, отвечая ему, приходилось повсюду тягаться за ним, наслушав свой будничны, нерешительный язык. Утомляя и внутренним масштабом беседы. Темы выбирались всегда большие и трудные («только о тайных речи мои»)...

Для лжи, для словесных изворотов, для небрежных формулировок, для умолчаний не оставалось места. Наконец, все представления и оценки даже самых обыденных явлений настолько не совпадали у Блока с общепринятыми, что зачастую ставили в тупик.

Он видел мир не таким, каким видим его мы.

В этом я убедился воочию, встретив, или, точнее говоря, подглядев как-то раз Блока на улице. Это длилось не больше одной минуты. Я ехал на площадке трамвая по Троицкому мосту. Он шел пешком навстречу и не заметил меня. Было это летом, кажется, 1918 года.

Он глубоко заложил руки в карманы серого летнего пальто. Ноги в белых полотняных ботинках двигались быстро, но как-то разбросанно и очень уж легко. Прямой, как всегда, бодро поднимая курчавую голову, он весело поглядывал по сторонам и то ли бормотал про себя, то ли напевал. С ним происходило что-то до того интимное, что я, наблюдая за ним исподтишка, почувствовал даже некоторую неловкость. Это шел поэт, но не «поэт, изучающий нравы», и не Чехов с записной книжкой. Было совершенно ясно, что он находится в состоянии творчества, что он весь во власти каких-то только что «принятых в душу» ритмов, которые, несомненно, совпадали с ритмом его неестественно легких шагов. Он смотрел на свой «железно-серый» город, видел его и не видел, то есть видел в нем то, чего реально нет, но то, по его представлениям, должно быть и некогда будет. Вокруг каждого предмета, вступавшего в поле зрения Блока, возникал нмб его поэтической мечты. Только эти «нимбы» без числа, он и видел. Перед светлыми глазами поэта был тот новый мир, который, по его словам, «неудержимо плывет на нас», та новая, омытая Революцией Россия, что «глядит на нас»...

Пересмотрите библиотеку...

Книга занимала особое место в жизни Блока. Это можно почувствовать, читая его дневник и письма. Например, в письме поэта к матери есть слова: «Хочу к книгам». Это написано перед отъездом из Москвы, где поэт устал от литературных встреч и новых знакомств.

Благоговейным отношением к книге Блок проникся еще в детстве. Он вырос в литературной семье, где мать, две тетки, бабушка были поэтами, переводчицами, прозаиками, а дед — известным ученым-ботаником. С университетских лет Блок тщательно и продуманно собирал свою библиотеку. Посещение букинистических магазинов было, видимо, одним из любимых занятий. Упоминания о них, а также о наиболее удачных приобретениях, находим в его дневнике среди записей, относящихся даже к самым тяжелым периодам его жизни. На книге вместе с владельческой надписью нередко выставлена и дата приобретения, а в каталоге иногда пометчалося, где и при каких обстоятельствах куплена или получена книга.

Однажды в разговоре Александр Блок высказал такую мысль: «В течение всей нашей жизни мы прочитываем тысячи книг, но вот если нас отравит навсегда на необитаемый остров и разрешат взять с собой только сто книг — этого будет вполне достаточно. Сто книг... — это очень много». В этом разговоре Блок, конечно, парадоксально заострил вопрос о том, какое количество книг человеку надо иметь под рукой, но мысль о том, что эти книги должны быть тщательно отобранными, отнюдь не случайна. Библиотека Блока отражает его литературные, философские, исторические, искусствоведческие интересы. Больше всего здесь современной Блоку поэзии, критической литературы, основные литературно-художественные периодические издания того времени. Поэта прежде всего интересовали пути и судьбы современной ему русской литературы. Он зорко присматривался и чутко отзывался на все новое и значительное. Много в его собрании фольклорных текстов и книг по фольклору. Перечисляя те книги, которые он сам взял бы с собой «на необитаемый остров», Блок среди первых назвал три тома русских сказок.

Зарубежные писатели, и прежде всего Гете, Гейне, Шекспир, Ибсен, Стриндберг, представлены как в переводе на русский язык, так и в оригинале. Приблизительно одна четверть книг Блока на иностранных языках.

Для нас книги А. Блока имеют исключительную ценность прежде всего потому, что на страницах многих из них сохранились его пометы, иногда отчеркнутые или подчеркнутые строки, вопросительные и восклицательные знаки на полях или краткие замечания. Все это позволяет существенно расширить наше представление о его литературных взглядах, уточнить автобиографичность его произведений. На полях некоторых работ пометы столь многочисленны, что, читая их параллельно с текстом, мы как бы присутствуем при разговоре Блока с автором книги. Есть, например, такая надпись: «Какой историк! Но ведь это, к счастью, неправда». А против статьи поэта Сергея Городецкого в журнале «Золотое руно» Блок все поля испещрил вопросительными и восклицательными знаками, возмущенными надписями, типа: «Почему вдруг?», «Фальшь». А затем пришел к выводу: «Все это — ребячество, к счастью, еще не старческое. И потому — просто вздор».

А вот текст шекспировского «Отелло» в переводе П. Вайнера исправлен Блоком так тщательно (вероятно, для какого-нибудь спектакля), что можно говорить уже о новом переводе драмы, принадлежащем самому Блоку.

Сейчас это бесценное книжное собрание хранится в фондах отделения БАН СССР при Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. В этом году коллектив сотрудников библиотеки закончил научное описание книг А. Блока под редакцией кандидата филологических наук К. П. Лукирской. Нет необходимости говорить о том, какую ценность для исследователей творчества поэта представляют его маргиналии.

Хотя Любовь Дмитриевна Блок после смерти мужа бережно сохраняла его библиотеку, некоторые книги оторвались от основного собрания, а некоторые были проданы или подарены самим Блоком. Часть этих книг удалось выявить в других книгохранилищах Москвы и Ленинграда, а также в личных собраниях. Эта работа должна быть продолжена. Знаменательно, что в дневнике Блока сохранилась запись завещательного характера: «Пересмотрите также после меня и мои книги. Они интересные, на некоторых подлинны». Поэт хотел, чтобы частица души, которую он вложил в свои книги, сохранилась для будущих поколений.

О. МИЛЛЕР.

научный сотрудник Библиотеки АН СССР при Пушкинском доме.

РЕДКИЕ СНИМКИ



Новыми иллюстрациями к стихам Александра Блока стали редкостные по своей выразительности фотографии города над Невой, конкретно отраженные в биографии самого поэта. Вот «рекреаторский» дом университета, где Блок родился. Вот дом на улице Декабристов, 57, где он провел последние годы своей жизни... Все это — фрагменты из альбому тщательно подобранных снимков, объединенных в своего рода сюжеты под истинно блоковским названием: «Город мой...». Издание этих фотогра-

ментов подготовил издательство «Художник РСФСР» в Ленинграде. К столетнему юбилею поэта увидел свет и еще один комплект иллюстраций — редкие портреты А. Блока. Мы видим поэта среди драматического театра, в создании которого он принимал столь деятельное участие. А вот семейная фотография... Но основное место занимают здесь редкие снимки поэта, запечатленные в разные годы жизни. Подлинники этих материалов хранятся в основном в Пушкинском

доме. Некоторые из них — любительские — технически несовершенно, претерпели неумолимое влияние времени. Старейшая ретушерская работа Н. А. Зибеева проявила незаурядное профессиональное мастерство, чтобы эти ценнейшие документы стали достоянием тысяч советских читателей и филокартистов.

Ю. СРОХОВАЦИЙ.

А. Блок в роли Гамлета — 1898 г. Сцена с королевой в самодеятельном спектакле.